

**РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ В ПОЛИТИКО-
КУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(ЧАСТЬ III)**

В. А. Гуторов

Санкт-Петербургский государственный университет,
Университетская наб., 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Россия

В статье объектом анализа стали своеобразные комплексы идей, в которых либерализм, консерватизм, глубокий традиционализм органически сочетаются с философским и политическим радикализмом и утопизмом. Ключевой пример в этом отношении — Н. М. Карамзин, русский историк и политический мыслитель, постоянно проявлявший резкие колебания между либерализмом и исторически окрашенным консерватизмом. Карамзин считал для абсолютной монархии возможным, нисколько себе не повредив, принять основные требования либерализма в качестве правительственной программы или даже в качестве основных принципов, на которых построено государство. Подобное соединение в одном лице диаметрально противоположных тенденций — либерализма и антилиберализма — уже на этапе становления либеральной традиции для русской общественной мысли оказалось отнюдь не случайным, но скорее закономерным. Трудно также отказать от впечатления, что античные утопические идеи влияли — непосредственно либо во французском революционном оформлении — не только на Карамзина, но и на Муравьева и Пестеля — авторов первых радикальных конституционных проектов. В конечном итоге можно утверждать, что идеи Карамзина не только во многом предопределяли характер эволюции русского либерализма XIX в., но и вполне созвучны и даже аутентичны идеям Кавелина в политическом, историческом, а в определенном смысле и чисто теоретическом аспектах, несмотря на всю их парадоксальность. К началу XX в. в российском идеологическом дискурсе возникли образы двух противостоящих друг другу опасных альянсов, которые, безусловно, оказывали непосредственное воздействие на практическую политику. В качестве одного из следствий в этот же период полностью сформировалась полемическая традиция, которую трудно назвать творческим спором. Эта полемическая традиция дожила до наших дней, вновь и вновь порождая глубокий скепсис в отношении каких-либо реальных перспектив воплощения в жизнь либеральной программы реформ в современной России.

Ключевые слова: консерватизм, традиционализм, утопизм, античная традиция, антилиберализм, конституционные проекты, идеологический дискурс, полемическая традиция.

Современные идеи и практики, характеризующие эволюцию демократических институтов в постсоциалистическом мире, не только хорошо вписываются в теоретический континуум Д. Сартори, но и воспроизводят ряд особенностей тех исторических дискуссий о «хорошем правлении», которые в России велись на протяжении столетий вплоть до наших дней. Тем самым данный континуум в качестве эвристической гипотезы вполне может хотя бы на время заменить

универсальную типологию российского либерализма. Его виртуальное пространство, естественно, включает в себя и идеи принципиальных противников либерализма. В работах наиболее выдающихся из них политическая незрелость российских либералов, ограниченность их возможностей одновременно ответить на вызовы оппонентов справа и слева характеризовались предельно рельефно. «Деспотизм или социализм — другого выбора нет», — писал Александр Герцен в начале 1850-х годов... Нельзя сказать, что большинство современников Герцена воспринимали политические альтернативы, используя столь же энергичные термины, как сам Герцен. Напротив, многие из них... в 1840–1850-е гг. действительно искали средний путь. Они желали более свободного и более справедливого общества по сравнению с тем, которое они видели вокруг себя в России середины девятнадцатого века. Но не общества, в котором моральные и социальные различия были бы уничтожены. И все же выбора, о котором говорил Герцен, было нелегко избежать в стране, где отсутствовала какая-либо традиция свободной политической дискуссии или какая-либо история постепенной реформы» (Offord, 1985, p. XI).

В российской политической истории и традиции государственный абсолютизм нередко ассоциировался с правовым нигилизмом, свойственным как государственной бюрократии, так и революционным радикалам слева и справа. Отрицание права во имя государственной или революционной «целесообразности» — тенденция, особенно распространенная в обществах переходного типа и достигающая апогея в эпохи революционных переворотов. Такая тенденция, в высшей степени характерная для российской истории последних столетий вплоть до наших дней, не могла не накладывать отпечатка на эволюцию отечественного либерального дискурса. И это хорошо осознается наиболее проницательными историками русской общественной мысли. Как отмечает А. Валицкий, «Россия редко ассоциируется с такими понятиями, как либерализм и право, поэтому может показаться, что книга о философских учениях права русского либерализма рассматривает весьма незначительный предмет. Тем не менее выбор мной этой темы был намеренно провокационным: я хотел показать, что в действительности либеральная интеллектуальная традиция в дореволюционной России была более развита, чем это обычно представляется, что основной интерес либеральных мыслителей России был направлен на изучение проблемы правового государства, что наиболее ценное наследие русского либерализма заключается именно во вкладе его в философию права, а также в то, что может быть названо дискуссией о праве, полемикой, в которой ценность права сама по себе представлялась спорной, требующей защиты, а не чем-то очевидным, само собой разумеющимся... Кроме того, более близкое изучение традиционных русских антиправовых взглядов... приводит к выводу, что не следует преувеличивать их специфически русские черты. Враждебное или по крайней мере глубоко подозрительное отношение к рациональному правопорядку можно в большей или меньшей степени обнаружить во всех отсталых и периферийных обществах, а особенно в тех, где модернизация приняла вид вестернизации и где поэтому современная правозаконность представляется враждебной их самобытной культуре и свойственной только Западу. В дореволюционной России

такая тенденция была, вероятно, особенно выразительна. Но справедливо ли приписывать это природной вражде между русским характером и духом законов? Мое отношение к этому скорее скептическое. Более пристальное изучение русской мысли девятнадцатого века показывает скорее, что во многих случаях характерная для нее антиправовая настроенность имеет западное происхождение. Русские мыслители находились под сильным влиянием западной критики капитализма — и слева, и справа, и вполне естественно, что это лишь усиливало их антилиберальные и антиправовые предрассудки. Это было одним из трагических последствий отстающего развития России» (Валицкий, 2012, с. 9–10).

На наш взгляд, преимущества концепции Сартори выглядят особенно очевидными, когда объектом анализа становится совокупность идей, в которых либерализм, консерватизм, глубокий традиционализм органически сочетаются с философским и политическим радикализмом и утопизмом. Подобно тому как собранные Диогеном Лаэртским инвективы против основателей школы стоиков и киников оказались для современных антиковедов весомым подтверждением аутентичности их философских и политических идей (Диоген Лаэртский, 2011, с. 248–258; см. подробнее: Гуторов, 1989, с. 206 сл.), анализ текстов идейных противников либерализма, как показывает опыт, также может быть весьма ценным подспорьем для понимания особенностей либеральной политической философии в различные эпохи. Особенно в тех случаях, когда ключевые фигуры общественной мысли и политики либо проявляли постоянные колебания в отношении отдельных моментов либерального дискурса, либо эволюционировали в противоположном либерализму направлении. В лице Н. М. Карамзина мы имеем как раз такой, притом весьма неординарный, случай.

В самом начале 4-й главы, посвященной Карамзину, В. В. Леонтович отмечает: «Предоставление Карамзину места в развитии либерализма в России противоречит всем традиционным представлениям. Однако его идеи, его общий духовный подход и даже его личность сыграли положительную роль в развитии России как раз в либеральном направлении. Прежде всего, Карамзин делал очень многое для всеобщего духовного приближения России к европейскому Западу. Он старался всячески расширить те каналы, через которые могли проникнуть и действительно проникали в Россию либеральные идеи. Такое косвенное значение Карамзина в смысле приготовления либеральной эпохи в России вообще не оспаривается; часто даже существует готовность признать, что Карамзин как представитель сентиментального гуманизма поддерживал как бы кристаллизацию некоторых укорененных в гуманизме предпосылок либерального мышления. Но существует и другой аспект значения Карамзина для утверждения либеральных идей и для развития либеральных институтов в России, и как раз этот аспект часто оспаривается. Происходит это, с одной стороны, потому, что Карамзин был решительным сторонником абсолютизма, что он думал об осуществлении либеральных принципов исключительно в рамках абсолютной монархии, что он полностью и решительно отвергал конституционализм, то есть любую возможность ограничения абсолютной власти самодержца. С другой стороны, что может быть еще важнее, широко распространенное отрицание положительной роли Карамзина в либеральном развитии России вызвано

и его скептическим подходом к вопросу об освобождении крестьян. Кроме того, принято считать несовместимым с требованиями либеральной идеологии его убежденную поддержку идей исторической школы, политического и правового традиционализма. Мне, однако, кажется, что эти возражения не выдерживают критики. Я уже указывал в главе, посвященной императрице Екатерине, на то, что значительные элементы либеральной программы могут осуществляться и в рамках абсолютной монархии. В этом был убежден и Карамзин. Так, надо признать, что Карамзин считал для абсолютной монархии возможным принять основные требования либерализма в качестве правительственной программы или даже в качестве основных принципов, на которых построено государство, при этом нисколько себе самой не повредив, и тем самым способствовал тому, чтобы направить русских монархов на путь либеральных реформ. И надо сказать, что, по мнению Карамзина, не только возможно, но и необходимо, чтобы абсолютная монархия усваивала принципы либеральной идеологии. Проведение в жизнь либеральных реформ и принятие либеральных методов управления государством являются требованием справедливости, а следовательно и требованием нравственным. Поэтому это требование — абсолютно связывающее для самодержца... Констатируя это, мы затрагиваем как раз может быть самую важную сторону мировоззрения Карамзина. Как политического мыслителя, его можно понять и правильно осмыслить его подход к государственным и правовым проблемам только если не упустить из виду решающее значение, которое он придает нравственным принципам, этическим требованиям в государственной и общественной жизни. Карамзин стоит за абсолютную монархию, за неограниченную власть монарха вовсе не потому, что он недостаточно ценит свободу или вообще настроен принципиально против свободы. Напротив, Карамзин повторяет статью 13 Екатерининского Наказа: «Предмет “Самодержавия” есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу». Он убежден в том, что абсолютная монархия вырождается в тиранический строй реже, чем иные государственные формы. По его мнению, это исторически доказано» (Леонтович, 1995, с. 86–87).

В. В. Леонтович, вероятно, полагал, что данная характеристика «положительной роли Карамзина в либеральном развитии России» не противоречит переформулированной им в предшествующей главе так называемой традиционной концепции, «согласно которой Карамзин был консерватором и даже в высшей степени реакционным человеком, враждебно относившимся ко всяким либеральным тенденциям» (Леонтович, 1995, с. 83).

Подобное соединение в одном лице диаметрально противоположных тенденций — либерализма и антилиберализма — уже на этапе становления либеральной традиции как таковой для русской общественной мысли оказалось отнюдь не случайным, но скорее закономерным. Именно по этой причине анализ политической мысли практически любого крупного русского мыслителя требует конкретного детального анализа и не может осуществляться чисто дедуктивным образом, т. е. выводиться из некоей общей схемы эволюции того или иного идеологического дискурса. В случае с Карамзиным образец такого анализа обозначен в работах Ю. М. Лотмана, посвященных различным аспектам эволю-

ции политических идей русского мыслителя. На наш взгляд, следует выделить в первую очередь несколько принципиально важных моментов, способствующих лучшему их пониманию.

В статье «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803)» Лотман специально акцентирует внимание на том, что «молодой Карамзин подвергся воздействию двух противоположных систем воззрений» — интроспективной в своей основе «масонско-кутузовской идеологии», с одной стороны, и «традиции просветительских идей и руссоизма», — с другой (Лотман, 1997, с. 313–314). «Втянутый в орбиту масонского влияния, участник новиковской просветительской деятельности, Карамзин не сделался, однако, последовательным сторонником кутузовских идеалов. Просветительские идеи, видимо, имели для него достаточную притягательность» (Лотман, 1997, с. 315). Но именно данное влияние взаимоисключающих идейных течений обусловили в дальнейшем восприятие Карамзиным не только событий французской революции и ее политических лидеров, но и либеральной идеологии как таковой с позиции, которую Лотман в другой работе, посвященной «Письмам русского путешественника», характеризует как откровенно утопическую: «Говоря о литературной позиции — или литературной позе — Карамзина, необходимо иметь в виду его принципиальный утопизм как характерную черту его идеологии. Карамзин выступает за самодержавие — но против самодержцев: он выступает за идеальное самодержавие, то есть за те формы правления, которых нет, но которые могли бы быть, — за ту идею, которая в них заложена. Точно так же Карамзин — за народ, но против “дебелого мужика”; он провозглашает необходимость ориентации литературного языка на разговорную речь, но не на реальную, а на идеальную речь, не на то, как говорят, а на то, как должны говорить... Этот утопизм идеологической позиции Карамзина сочетался с принятой им на себя миссией просветителя. Он одновременно теоретик-утопист и практик — деятель просвещения, популяризатор. Теоретик усматривал в любой реализации идеи ее плачевное уничтожение, практик — профессионал литератор, журналист и широко читаемый писатель — осуждал “химеры” и видел в популяризации и просветительстве общественное служение» (Лотман, 1997, с. 488; ср.: Walicki, 2015, p. 131).

Такая своеобразная просветительская позиция во многом объясняет парадоксальные моменты, характеризующие, например, скептическое отношение Карамзина к лидерам раннего этапа французской революции Мирабо и Мори и почти сентиментальное отношение к будущему вождю якобинской диктатуры Робеспьеру. «Он видел перед собой маркиза Мирабо, аристократа, отпрыска старинного семейства, мота и расточителя, ведущего роскошный образ жизни и с трибуны Конституанты проповедующего идеи демократии и играющего роль народного трибуна. Одновременно он имел возможность наблюдать его противника аббата Мори. Выходец из бедной семьи сапожника-гугенота, лично испытавший тяготы фанатизма и препятствия, которые ставил старый режим на пути одаренного человека из народа, Мори, одаренный способностями богослова и общественного деятеля и талантом оратора, был с детства неумным честолюбивым. Ему приписывают фразу: “Тут я погибну или добуду себе кардинальскую шляпу”. Зрелище аристократа, выступающего от имени народа, и выходца

из низов, защищающего папство и корону, толкало Карамзина к тому, чтобы за пафосом политических деклараций различать борьбу честолюбий, жажду власти и успеха. Позже Карамзин писал: «Аристократы, демократы, либералисты, сервиллисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Вы все авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, сервиллисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод» (Лотман, 1997, с. 511).

Следует отметить, что в высшей степени поучительный и новаторский характер интерпретации Лотманом столь необычного, на первый взгляд, сочетания вполне рациональных, отмеченных скептицизмом суждений Карамзина о революционных политиках с утопическим мировосприятием иногда производит впечатление незавершенности. «Традиции масонского утопизма, — отмечает он, — книги Руссо и Мабли, которыми Карамзин зачитывался в революционном Париже, настраивали его на утопический лад. Утопия рисовалась Карамзину в том облике, который придавали идеальному обществу Платон и Томас Мор. Оба эти писателя составляли любимое чтение Карамзина, и к их идеям он многократно возвращался, выделяя такие черты, как всеобщее равенство, царство суровой добродетели, строгая государственная регламентация жизни. Политика отождествлялась с эгоизмом и честолюбием, и ей противопоставлялась личная добродетель... Попытки государственной регламентации экономики в ходе революции с этой точки зрения могли истолковываться как шаги в сторону платоновской власти государства. Карамзин не верил в реализуемость этих идеалов, но не мог отказать им в уважении... Он колебался между эстетическим преклонением перед идеей всеобщего равенства и скептической усмешкой в адрес тех своих современников, которые «сравнивали Мабли с Жан-Жаком и сочиняли планы для новой Утопии». Для того чтобы понять отношение Карамзина к Робеспьеру, которого он оценивал не как политического деятеля, а как благородного мечтателя, нужно иметь в виду, что отрицательное отношение писателя к насилию, исходящему от толпы, улицы, шире — народа, не распространялось на насилие вообще» (Лотман, 1997, с. 518).

В какой степени такое смешение скептицизма и утопического восприятия действительности сочетается с отмечаемыми Лотманом постоянными колебаниями Карамзина между исключаящим прагматическую политику статическим идеалом социального и этического совершенства, воспринятым из современной ему утопической литературы, и восходящей к Вольтеру, Гердеру и Кондорсе идеей непрерывности исторического прогресса и поступательного развития человеческого разума и общества, также не лишенной утопических акцентов? «В сознании Карамзина в годы революции, — отмечает Лотман, — боролись две концепции. Одна заставляла прославлять успехи промышленности, свободу торговли, видеть в игре экономических интересов залог свободы и цивилизации. Другая — третировать экономическую свободу как анархию эгоизма и противопоставлять ей суровую нравственность и общую пользу. Обе исключали политику в узком смысле слова» (Лотман, 1997, с. 518–519). Он постепенно приходил к заключению, что «совершенное состояние человечества переносится

в отдаленное будущее, а историческое движение приобретает смысл как постепенное приближение к нему. Все более склоняясь к тому, что первобытное равенство — прекрасная, но несбыточная мечта, Карамзин переносил свои надежды в будущее, возлагая упования на прогрессивное движение человечества от тьмы и невежества к свету и Разуму» (Лотман, 1997, с. 519).

Ответы на все поставленные выше вопросы, равно как и адекватная интерпретация парадоксов карамзинской мысли, на данный момент могут быть выстроены преимущественно в гипотетическом плане. Вероятно, читая Платона, Мора, Руссо, труды Мабли и французских энциклопедистов, русский мыслитель усвоил в теоретическом плане до сих пор бросающееся в глаза замечательное сочетание в их произведениях принципов идеального социально-политического конструирования с критическим и трезвым анализом реальной политики и социальных антагонизмов, убежденность в существовании «золотого века» человеческой истории и философию прогресса. Например, читая «Государство» и «Законы» Платона, он не мог не обратить внимания на ряд моментов платоновской политической философии, соответствовавших его умонастроению. Например, на то важное обстоятельство, что в IV в. до н. э. в эпоху расцвета платоновского творчества, в Греции сложилась парадоксальная ситуация: упадок традиционной политики как систематического участия большинства граждан города-государства в управлении не только стимулировал специализацию управленческих функций, но и высвобождал экспериментальную творческую энергию интеллектуалов-реформаторов. Тем самым политическая теория обретала новые горизонты. И Платон, и Аристотель, равно как и их последователи, постоянно выражают уверенность в том, что «досуг» (схоле) порождает стремление к беспристрастному поиску истины (Plato. Resp., II, 373a) и способствует росту теоретического познания. Приращение знания происходит постепенно, «малопомалу» (epi mikron), поскольку вещи не образуются внезапно, но «в течение долгого периода времени» (Plato. Legg., III, 678b). Знания передаются от одного поколения другому, образуя непрерывную историческую цепь. Она и является основой цивилизации, представляющей собой сотрудничество и преемственность, когда «те, кто пользуются доброй славой», преумножают знания, «будучи преемниками многих продвигавшихся, как бы сменяя друг друга (ek diadoches)» (Aristot. Soph. Refut. 34, 183b 29–31).

Платоновская концепция постепенного прогресса внутри отдельных цивилизаций (которую вполне разделял и его ученик Аристотель) была основана на гипотезе о вечности человеческого рода и культуры. Этой концепции не противоречил тот факт, что и учитель, и ученик разделяли теорию периодической гибели цивилизаций в результате космических катастроф. Прогрессивный рост основных элементов цивилизации в промежутке между периодическими мировыми катастрофами подчиняется определенным кумулятивным законам (см. подробнее: Edelstein, 1967; Гуторов, 2011, с. 189–206).

Во второй половине XVIII в. и в эпоху французской революции, идеологи которой рядились в римские одежды и унаследовали от Монтескье и энциклопедистов склонность к постоянной популяризации античных исторических сюжетов и философских идей, возрожденный Ж.-Ж. Руссо интерес к Платону и древне-

греческой политической мысли не находился в упадке, включая и миф о «золотом веке». «К концу восемнадцатого века, — отмечает Д. Эдельштейн, — информированный читатель, по всей вероятности, был вполне склонен воспринимать миф о золотом веке как историческую реальность. Мир золотого века открывался далеко за пределами руссоистского *siècle d'or*: ориентализм, учения физиократов и свободных масонов, открытие дружелюбных обитателей Таити и дискурс *sensibilité* — все они вносили свой вклад в придание природному состоянию цивилизаторского облика... Культурные изменения, которые способствовали проникновению натуралистического воображения в политическую мысль, также в высшей степени стимулировались революцией в направлении [именно] такого восприятия прошлого в восемнадцатом веке. Однако было бы крайне ошибочно предполагать, что мифы о золотом веке у Руссо, Вольтера, Дидро, Кур де Жеблена, Байи и других были идентичны. Их мифическое предназначение могло соответствовать совершенно различным сюжетам — от изощренного общества, напоминающего Атлантиду Платона, до аркадской простоты Бозэтики Фенелона. Золотой век мог быть антитетичен в отношении обладания вещами в этом мире или обязан своим существованием пришествию частной собственности. Он был совершенной природной республикой для одних и совершенной природной монархией для других. В этом разнообразии не было ничего нового: классический Рим видел и овидианскую, и вергилианскую версии одного и того же мифа. И платоновское описание золотого века (в «Политике») было гораздо ближе к его собственному идеалу государства, чем к обществу золотых людей у Гесиода. «Грубо говоря, — как однажды заметил Гарри Левин, — золотой век является всем, чем не является век современный»» (Edelstein, 2009, p. 118–119).

Однако нельзя забывать и о таком важном моменте, что в XVIII–XIX вв. тема «золотого века» в русской общественной мысли тесно соприкасалась с формирующимся идеальным образом Запада, который наложил отпечаток и на «Письма русского путешественника». По замечанию Ю. М. Лотмана, «для традиции, которая была начата «Великим посольством», путешествие в Европу (и в первую очередь во Францию) сделалось чем-то значительно большим, чем поездка из одного места в другое, перемещение в географическом пространстве. Оно приобрело черты подлинного паломничества. Сформированная в XVIII в., традиция эта оказалась весьма долговечной. В известном автобиографическом введении к главе IV книги «За рубежом» М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание». И далее: «В России — впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели 'образ жизни'. Ходили на службу, в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для беседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции». Такое отношение было возможно лишь потому, что Европа, и в первую очередь Франция, представлялась не реально

географическим, а идеальным пространством, откуда, по выражению того же Салтыкова-Щедрин, “лилась на нас вера в человечество” и “воссияла нам уверенность, что ‘золотой век’ находится не позади, а впереди нас”. Не случайно для многих русских западников непосредственное столкновение с реальным Западом делалось источником горьких разочарований, а порой — как это было для Герцена — и подлинной духовной драмы» (Лотман, 1997, с. 521–522).

Но в целом трудно отказаться от впечатления, что античные утопические идеи влияли — непосредственно либо во французском революционном оформлении — не только на Карамзина, но и на авторов первых радикальных конституционных проектов — Муравьева и Пестеля. Если, по мнению Карамзина, «абсолютная монархия остается подлинной монархией и не превращается в тиранический строй до тех пор, пока она опирается на повеления Божии и полностью соблюдает требования справедливости» (Леонтович, 1995, с. 86), то для русских либеральных радикалов, будущих декабристов, идея установления диктатуры, которая с современной либеральной точки зрения практически тождественна тирании, вряд ли противоречила платоновским принципам, сформулированным в «Государстве» и «Законах». «Кастальский» философский абсолютизм Платона неотделим от образа идеального монарха и даже тирана, диктующего своим подданным, как им следует себя вести в личной жизни и на общественном поприще. «Дайте мне государство с тираническим строем, — восклицает платоновский Афинянин в “Законах”, — пусть тиран будет молод, памятлив, способен к учению, мужествен и от природы великодушен... На первое место я ставлю возникновение государства из тирании, на второе — из царской власти, на третье — из какого-либо вида демократии, на четвертое — из олигархии. В самом деле, из нее труднее всего возникнуть совершенному государству, ибо при ней больше всего властителей... А поскольку чем меньшее число лиц стоит у власти, тем она крепче, как, например, при тирании, то именно в этом случае всего быстрее и легче совершается переход... Если тиран захочет изменить нравы государства, ему не потребуются особых усилий и слишком долгого времени. Хочет ли он приучить своих граждан к добродетельным обычаям или, наоборот, к порочным, ему стоит только самому вступить на избранный им путь. Собственное его поведение будет служить предписанием, так как одни поступки будут вызывать с его стороны похвалу и почет, другие — порицание; ослушника же он будет покрывать бесчестьем за всякий его поступок» (Plato Legg., 709e–710a, 710d–711c, пер. А. Н. Егунова; ср.: Plato Resp., VI, 502a–b).

Образу платоновского философского тирана-законодателя противостоял и одновременно с ним сливался идеал демократической республики, в котором античная традиция органически соединялась с принципиально новыми идеями, характерными для эпохи модерна. «Французская революция совместно с ее американским аналогом, — отмечает М. Эдельштейн, — заложили основание современной электоральной демократии. Повсеместные и регулярные выборы стали критерием революционного десятилетия. Революция сделала выборы источником политической легитимности, выражением народной воли и механизмом для избрания публичных должностных лиц. Более чем один миллион выборных должностей были созданы в 1790 г. <...> Хотя Америка ввела в действие

принцип народа как законодательной силы, Франция заложила основу демократической традиции прямой народной ратификации конституции» (Edelstein, 2014, p. 333).

Следует отметить, что уже на следующей странице цитируемого выше современного исследования тон его либерально настроенного автора становится гораздо менее бравурным, когда он довольно сдержанно признает (хотя и никак не комментирует) тот факт, что постепенно вводимые цензовые ограничения в порядок избрания государственных должностных лиц сократили и число избирателей до 61 процента активных граждан, а «гораздо более селективные требования для избирателей, вписанные в конституции 1791 и 1795 г., уменьшили эти цифры до 12 процентов электората. *Marc d'argent* [серебряная марка. — *В. Г.*], требуемая для депутатов, сокращала численность избираемых граждан до 10–18 процентов» (Edelstein, 2014, p. 334).

В начале XX в. совсем иначе оценивал данные буржуазные ограничительные меры Петр Кропоткин, русский политический теоретик и создатель итоговой солидаристской концепции в классическом анархизме. В своем труде «Великая революция» он пронизательно отмечал, что одним из первых шагов победившей буржуазии было исключение основной массы народа из местных первичных ассамблей (*assemblées primaires*), созданных французским Национальным собранием, которое было сформировано еще при «старом режиме» на основе двухуровневых выборов. Тем самым буржуазные революционеры «признавали только активных граждан, т. е. тех, кто платил прямые взносы по крайней мере за три дня работы. Остальные становились гражданами пассивными. Они не могли больше участвовать в первичных ассамблеях, и, таким образом, они не имели права назначать ни выборщиков, ни своих муниципальных властей, ни каких-либо должностных лиц в департаментах. Они не могли больше служить в национальной гвардии» (Kropotkine, 1909, p. 213–214). А вскоре было запрещено создание и выборов ассамблей (также сформированных до начала революции) на постоянной основе. Избранные когда-то местные власти фактически выходили из-под контроля избирателей, право подачи петиций и выражения чаяний было также отнято у всех категорий граждан, и окончательно восторжествовал принцип «Votez — et taisez-vous!» [«Голосуйте — и молчите!» — *В. Г.*]» (Kropotkine, 1909, p. 214). Так закладывалась будущая основа либеральной концепции избирательного права, ограниченного кругом собственников, под которую в 1840-е гг. Франсуа Гизо — видный историк и либеральный премьер-министр правительства Луи-Филиппа — подвел теоретическую базу.

Так или иначе, уже в первые десятилетия XIX в. различные трактовки событий Великой французской революции, постепенно сливаясь с античными сюжетами, становились парадигмальной классикой и основой для разработки альтернативных революционных проектов в монархической России. Существенное воздействие на них оказывали новые исторические моменты, становившиеся объектом теоретической рефлексии для либерально настроенных интеллектуалов всех политических оттенков. Гражданские войны в Испании (именно в этой стране в 1811 г. возникла политическая партия, сторонники которой называли себя *liberales*), борьба за освобождение Греции от османского ига, немецкий

Тугендбунд, итальянские карбонарии и Мадзини и многие другие события положили начало процессу, который лорд Актон в начале XX в. пронизательно определил как опасный альянс либерализма с национальными движениями (Essays..., 1985, p. 5–12). Но именно этот процесс, спонтанно оказавшийся внешним фоном и стимулом для формирования политической теории классического либерализма во Франции и Великобритании, вызывал пристальный интерес у русских либеральных радикалов, в сознании которых либеральные конституционные формы легко сливались в духе времени в некое органичное целое.

Хорошо известно, например, увлечение Н. М. Муравьевым конституционными проектами Б. Константа (Российский либерализм..., 2007, с. 77–86). Муравьеву как будущему автору радикальной конституции, конечно, не могла не импонировать пластичность принципов Константа, защищавшего в теоретическом плане термидорианскую конституцию 1795 г., в 1814 г. стремившегося своим сочинением «Размышления о конституциях, распределении властей и гарантиях в конституционной монархии», направленным против «революционного монарха» Наполеона, воздействовать на общий характер хартии «легитимного короля» Людовика XVIII, а затем в 1815 г., в период Ста дней, ко всеобщему удивлению, согласившегося работать в администрации Наполеона, вернувшегося с о. Эльба и даже сочинившего поправки к конституции империи (см. подробнее: Vincent, 2011, p. 6–7, 39–57, 163–166; Rosenblatt, 2008, p. 37–39). По замечанию Дж. А. Келли, союз Б. Константа с Наполеоном является свидетельством того, что «он, очевидно, стремился к власти тем же самым беспринципным образом, которым он убажвал свои физические аппетиты» (Kelly, 1992, p. 7).

В новую эпоху сформировавшееся под влиянием Карамзина направление общественно-политической мысли временами отходило на задний план. Но это не означало, что оно вообще утратило влияние на русскую либеральную традицию хотя бы потому, что карамзинская «История государства Российского» практически с момента ее выхода в свет стала важнейшим элементом русского общественного сознания и культуры. Разумеется, и этот исторический труд, и другие работы Карамзина на политические и литературные темы продолжали влиять на эволюцию идеологического дискурса, в том числе и на формирование либерального направления русской политической мысли.

Характер и теоретическая конфигурация этого влияния до сих пор остается предметом научной дискуссии. Как отмечал Ю. М. Лотман в статье «Колумб русской истории», «“История государства Российского” ставит читателя перед рядом парадоксов. Прежде всего надо сказать о заглавии этого труда. На титуле его стоит “история государства”. На основании этого Карамзина стали определять как “государственника” (да простит нам читатель это употребляемое некоторыми авторами странное слово!). Достаточно сравнить “Историю” Карамзина с трудами исследователей так называемой государственной школы Б. Н. Чичерина и К. Д. Кавелина (в предшественники которых Карамзина иногда, также основываясь на заглавии, зачисляют), чтобы увидеть, в какой мере Карамзину были чужды вопросы административно-юридической структуры, организации сословных институтов, то есть проблемы формально-государственной структуры общества, столь занимавшие “государственную школу”. Более того, исход-

ные предпосылки Карамзина и “государственной школы” прямо противоположны» (Лотман, 1997, с. 570). В связи с этим возникает ряд вопросов: является ли обозначенное Лотманом противопоставление Карамзина Кавелину и Чичерину вполне корректным и окажется ли оно столь же действенным за пределами исторических и юридических дисциплин?

Для решения данных вопросов необходимо обратиться еще к одной важной характеристике эволюции политической мысли Карамзина, приводимой в статье Лотмана: «Слезы, которые пролил Карамзин на гроб Робеспьера, были последней данью мечте об Утопии, платоновской республике, государству Добродетели. Фантастическое, мечтательное царствование Павла I (“романтического нашего императора”, как выразился Пушкин в своем дневнике), пытавшегося воскресить рыцарский век, к тому же в формах, существовавших лишь в его воображении, завершило переворот в воззрениях Карамзина. Пережив мучительный кризис во второй половине 1790-х гг., Карамзин вышел из него холодным мыслителем с твердым умом и разочарованным сердцем. Он остается “республиканцем в душе”, но верит теперь лишь государственной практике, власти, отвергающей любые теории и противопоставляющей эгоизму людей сильную волю и твердую руку. Идеалом его становится принципат, соединяющий республиканские институты и сильную власть, держащий равновесие между тиранией и анархией, а консул Бонапарт — реальное воплощение такого идеала в 1802–1803 гг.» (Лотман, 1997, с. 574–575).

В примечании ученый поясняет, что «бонапартизм в эти годы уживался с либерализмом. С. Н. Глинка вспоминал: “Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом”... бонапартистом был в эти годы герой Бородина А.А. Тучков» (Лотман, 1997, с. 575; Глинка, 1895, с. 194). Однако из контекста данного примечания трудно судить, считал ли Лотман «бонапартизм» Карамзина свидетельством его «либерального республиканизма», а новообретенную им веру в «государственную практику и власть» — доказательством того, что понятие «государственник» уже не выглядит «странным»?

В своей другой статье «“О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях” Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века» Лотман характеризует историка уже как противника и политики Наполеона Бонапарта, и бонапартистского характера реформаторских планов Сперанского: «Время создания “О древней и новой России” — период проектов Сперанского. Отсюда сама собой напрашивается схема: Сперанский и Карамзин как воплощение прогресса и реакции. Как ни удобна эта картина, но историческая реальность сложнее. “О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях” — произведение очень сложное и по-разному рисующееся в различной исторической перспективе. Самая ближайшая — конкретная обстановка 1811 г. В этом аспекте позиция Карамзина представляется в следующем виде: он ясно видит приближение огромной по масштабам войны... Он считал, что Тильзитский мир вреден, поскольку втягивает Россию в орбиту наполеоновской политики и что союз с Наполеоном приближает, а не отдаляет неизбежность военного столкновения. Сперанский же исходил из того, что союз с Наполеоном дарует России прочный мир, необходимый для проведения

реформ. Связь реформаторских планов Сперанского с профранцузским курсом внешней политики в определенной мере повлияла на тон меморандума Карамзина» (Лотман, 1997, с. 590).

Как известно, во второй половине XIX в. реформы Сперанского оценивались некоторыми представителями русской либеральной традиции сугубо негативно. «По теории, перенесенной к нам из Европы Сперанским, — утверждал К. Д. Кавелин в брошюре “Политические призраки”, изданной по цензурным соображениям в Берлине в 1878 г., — управление государством сосредоточивается в руках государя. Но в европейских странах, где конституционные порядки существуют не по одному названию, а на самом деле, управление подчинено контролю суда и народного представительства; в императорской же Франции, откуда мы заимствовали свои административные уставы, конституционные формы были лишь ложью и обманом. Суд и представительство были безгласны, а вся сила заключалась в администрации, которая, будучи сосредоточена в руках французских цезарей, обратилась во всемогущее орудие угнетения и произвола. Там такое значение администрации было совершенно понятно, и ложь отчасти вынуждена обстоятельствами. Когда создавались наполеоновские учреждения, Франция была глубоко потрясена революцией; политические страсти еще не улеглись и при каждом удобном случае готовы были вспыхнуть снова; недавно торжественно провозглашенные свободы были еще свежи в памяти каждого. При таких условиях Наполеону было необходимо создать сильную диктатуру, придав ей снаружи в виде успокоения и утешения легковой массы, довольствующейся фразами и болтовней, конституционные формы, как некогда при сходных обстоятельствах Август создал в Риме императорскую власть с республиканскими внешними атрибутами. Правдой в этих политических построениях была полновластная диктатура, а конституционные и республиканские украшения — ложью и обманом. Это чудовищное переплетение произвола, насилия, лжи, обмана и неправды, созданное обстоятельствами у измученного страшным переворотом народа, мы, по печальному недоразумению, перенесли к себе. Напрасно знаменитые современники, в том числе Карамзин и, если не ошибаемся, Трощинский, возражали против такого нововведения: голос их не был услышан. К истинному нашему несчастью, страшное орудие угнетения, выкованное военной диктатурой посреди хаоса революции, водворено в стране, где в течение веков народ работал над созданием ничем не ограниченной верховной власти и где по самому составу общественных элементов политические и социальные перевороты невозможны. В России нет политической жизни, и в европейском смысле ее не может у нас быть. У нас вследствие совершенной бесспорности политических условий существования может развиваться только жизнь общественная, социальная. Французская административная машина, перенесенная к нам в начале XIX в., не могла изменить этих коренных условий нашей общественности и, утратив на русской почве политический характер, выказала всю свою непригодность в России тем неизмеримым злом, какое она произвела и производит в нашем общественном, социальном быту» (Кавелин, 2013, с. 1024–1025).

Характер аргументации Кавелина свидетельствует о том, что он рассматривал Карамзина как противника бонапартизма и своего союзника в деле отстаивания

вания самобытных основ российской государственности. «Русский Бог, — писал он, — избавил нас от конституционной лжи ограничения царской власти народным представительством, зато все последствия конституционного миража, будто администрация находится в руках царской власти, мы испытали вполне, до единого, во всей их печальной правде. Во Франции от горькой истины этого принципа неопытные глаза отводились сценическими представлениями будто бы самостоятельного суда и палаты народных представителей, как прежде от гильотины — деревьями свободы и празднествами согласия. У нас никакие фиоритуры политического характера не окрашивают безобразной наготы этого вовсе нам чуждого принципа. На русской почве вследствие обстоятельств и условий принцип этот получил своеобразный вид, принял, не встречая ниоткуда помехи, чудовищные, ужасающие размеры. Администрация во имя Царской власти заслонила и оттеснила эту самую власть на второй план и взяла самодержавие в свои руки... Русская Империя поработана администрацией. Повторяем: не люди виноваты в теперешнем порядке дел, а ошибочная организация, основанная на конституционных фикциях, не имеющих с нашим положением ничего общего и создающая миражи в противоположность несомненным и очевидным фактам. Давно пора ликвидировать ложь и обман, в которых мы запутались. Чем дольше мы будем медлить, тем опаснее будет становиться болезнь и тем труднее исцеление» (Кавелин, 2013, с. 1026–1027, 1036–1037; ср.: Хайек, 2006, с. 429–430).

В конечном итоге можно утверждать, что идеи Карамзина не только во многом предопределяли характер эволюции русского либерализма XIX в., но и вполне созвучны и даже аутентичны идеям Кавелина в политическом, историческом, а в определенном смысле и чисто теоретическом аспектах, несмотря на всю их парадоксальность. Некоторые наблюдения и выводы, сделанные Лотманом, также свидетельствуют об этом: «Идея исторического прогресса составляла одну из основ мировоззрения Карамзина, и именно этим он долгое время вызывал ненависть Шишкова и его окружения. Нет ничего более несправедливого, чем представлять его сторонником исторического застоя. Однако к реформаторству Александра I он действительно относился отрицательно. Пушкин имел основания назвать политические воззрения Карамзина “парадоксами”. С одной стороны, приверженец монархического правления, Карамзин многократно повторял, что в идеале предпочитает республику. С другой, подчеркивая свою приверженность Александру I, лично любя его как человека и не раз развивая перед ним свои политические идеи, он чрезвычайно низко ставил его как государственного деятеля, считал его исполненным благих намерений царем-неудачником, все планы которого обращаются во вред России... Реформаторскую деятельность Александра I Карамзин оценивает в свете всей традиции правительственных реформ в России после Петра I... Основная причина реформаторской импотенции правительств второй половины XVIII — начала XIX в. была скрыта в исходной презумпции: все изменить, ничего не меняя. С самого начала реформ Александра I как неперемное условие было предположено, что инициатива, весь план и его реализация исходят от императора... Критическое отношение Карамзина к преобразовательным планам Александра имело и более глубокие корни,

вырастая из размышлений над всем послепетровским путем империи. Карамзин более, чем кто-либо из современников его, был человеком европейского Просвещения. Обвинения в галломании преследовали его всю жизнь. Но именно Карамзин первым заметил, что прививка европейской администрации к русскому самодержавию порождает раковую опухоль бюрократизма... Бюрократии Карамзин противопоставлял наивную мысль о семейной, патриархальной природе управления в России. Утопизм этого представления очевиден. Однако оно сыграло в истории русской общественной мысли слишком серьезную роль, чтобы можно было ограничиться такой оценкой. Идея «непосредственной» отеческой власти противостояла европеизированному бюрократическому деспотизму — прямому потомку петровского «регулярного государства»... Главной мишенью Карамзина был не Сперанский, а Александр I» (Лотман, 1997, с. 591–594).

Карамзинская идея о семейной, патриархальной природе управления в России была также созвучна тезису Кавелина, который он постоянно отстаивал во многих своих работах: «политическая точка зрения не применима к внутренним делам России..., противоположение власти народу и народа — власти не имеет у нас никакого смысла..., поэтому преобразование Русского государства невозможно и всякие попытки в этом роде будут бесплодны» (Кавелин, 2013, с. 1070). Стремления обоих мыслителей «преодолеть политику» на российской почве оказались неожиданно созвучны тому современному направлению западной политической философии, представители которого отвергают политику и разрабатывают новую концепцию либерализма за пределами политического поля (см.: Newey, 2001).

К началу XX в. в идеологическом дискурсе возникли образы двух противостоящих друг другу опасных альянсов, которые, безусловно, оказывали непосредственное воздействие на практическую политику. В воображении право-консервативных идеологов наиболее опасным рисовался антинародный по своей сущности союз отщепенческой столичной интеллигенции и бюрократии. «Куда ни посмотришь в новую допетровскую жизнь Русского народа, — писал В. П. Мещерский, — видишь ясно, что масса разрозненных и разбросанных русских людей была благородна и свободна в своем духовном мире на вершинах Русского народа, и, верная преданиям старины, не бунтует против власти, была постоянно против уродливого навязывания России веяний Запада нашим чиновничеством и петербургской интеллигенцией — его исчадием, невзирая на то что из этого самого Запада брали подчас смешные привычки и наружные формы... Интеллигенция же, про которую говорит г. Аксаков и которая не есть высшее русское общество, а была искусственно созданная масса научных чему-нибудь и как-нибудь людей, — совершенно наоборот; она потому и была инстинктивно ненавистна и Русскому народу, и русскому образованному дворянину (хотя бы даже самому Евгению Онегину, которому ни аббэ, ни мадам не помешали остаться русским в сущности), что, будучи детищем чиновника, страдала его недугами и руководилась в своих действиях презрением к разным, так сказать, идеалам Русского народа и прежде всего ненавидела свободу

русского духа, свободу русской жизни. Этот интеллигент, чадо чиновника, захватывает, так сказать, в свои руки всю власть над русской жизнью на минувшую эпоху реформ, и захватывает ее потому, что берет ее прямо из отцовских рук, из рук реформатора-чиновника, и вот начинается эпоха, когда под предлогом народного блага и свободы является самый страшный деспотизм интеллигенции над Русским народом, деспотизм, перед которым бледнеют страницы истории Иоанна IV и самого Петра I... Чиновники и интеллигенция, то есть ученые и писатели, спешат под предлогом прогресса прежде всего совершить два главные подвига: с освобождением крестьян соединить уничтожение духовного значения русского дворянства, русского помещика-боярина как государственной и земской силы и обречь на смерть Русскую Церковь. А все остальное для них подробности. Этот уродливый союз интеллигенции с чиновником столько же презирает народ, сколько пренебрегает святостью Русского Самодержавия» (Мещерский, 2010б, с. 335–336)¹.

На левом фланге сформировался неустойчивый альянс леворадикальных групп, часть которых в годы первой русской революции превратилась в анти-системные политические партии, объявившие монархии войну не на жизнь, а на смерть. В своей знаменитой работе «Русские мыслители» И. Берлин следующим образом охарактеризовал их деятельность: «Однажды, пытаясь объяснить леди Оттолайн Моррелл русскую революцию, Бертран Рассел заметил, что большевистский деспотизм, каким бы ужасающим он ни был, по-видимому, является подходящим видом правления для России: “Если Вы спросите себя, как должны управляться характеры Достоевского, Вы [это] поймете”. Взгляд, согласно которому деспотический социализм был вполне Россией заслужен, многими западными либералами был бы признан как довольно справедливый, по крайней мере с учетом романа Достоевского о “бесах”, [т. е.] радикальной российской интеллигенции. По степени собственной отчужденности от своего общества и своего воздействия на него российская интеллигенция девятнадцатого века была феноменом почти *sui generis*. Ее идеологические вожди были небольшой группой, обладавшей сплоченностью и ощущением собственной миссии, собственным религиозной секте. Своей неистовой моральной оппозицией существующему порядку, своей целеустремленной поглощенностью идеями, своей верой в разум и науку они проложили путь к русской революции и тем самым приобрели важную историческую значимость. Но все они слишком часто третируются английскими и американскими историками с характерной смесью снисхождения и морального отвращения. Причина состояла в том, что теории, которым они были столь горячо преданы, не были их собственными, они были заимствованы с запада и поняты несовершенным образом. Потому что в своей

¹ По-видимому, именно кн. Мещерский, дошедший в своих инвективах против российской чиновной и титулованной интеллигенции до прямых ее обвинений в национальной измене, является праотцом той знаменитой формулы, которая в 1946 г. была отчеканена в романе Э. М. Ремарка «Триумфальная арка»: “*Vaterlandsveörrat als eine Art von Patriotismus*” — «Предательство Родины как разновидность патриотизма» (см.: Мещерский, 2010б, с. 336–338; Мещерский, 2010а, с. 321–322; Remarque, 1988, S. 311; см. также: Кавелин, 2013, с. 1030–1032; Карцов, 2004, с. 61–71).

фанатичной преданности идеологиям крайнего толка они одержимо рвались, как и «бесы» Достоевского, к слепому самоуничтожению, таща за собой свою страну, а впоследствии и весь остальной мир. Русская революция и ее последствия во многом усиливали убежденность, глубоко укоренившуюся в англосаксонской системе представлений: неистовый интерес к идеям является симптомом умственного и морального расстройств» (Berlin, 1978, р. XIII–XIV; см. подробнее: Walicki, 1995; о различных аспектах и трактовках данной проблемы в российском научном дискурсе см.: Ширинянц, 2011; 2012б; 2012в; 2012а).

На активизацию левых радикалов правительство отвечало традиционными репрессиями и полицейскими мерами, направленными на борьбу с завезенной из Европы «крамолой», которые, как показало время, были неэффективными и не смогли спасти старый порядок (см. подробнее: Абакумов, 2008).

В качестве одного из следствий в этот же период в русской общественной мысли полностью сформировалась полемическая традиция, которую трудно назвать творческим спором, философским диалогом или политической дискуссией, поскольку она больше напоминала обмен стереотипными инвективами, которыми представители противоположных идейных направлений постоянно, «как говорится, машинально» обменивались на протяжении многих десятилетий, создавая у современников, а в дальнейшем и у потомков устойчивое ощущение дежавю. На резкости Ф. М. Достоевского против либералов в «Дневнике писателя» и его почти экзальтированные призывы «смириться» и вновь найти опору в глубоких христианских корнях русского народа, в которых явно ощущалось влияние идей, сформулированных славянофилами и Тютчевым, теоретики либерального консерватизма отвечали спокойно, твердо и вполне справедливо: «Мы, русские, — народ действительно полудикий, с крайне слабыми зачатками культуры»; «Общественные идеалы нашего народа находятся еще в процессе образования, развития. Ему еще много надо работать над собою, чтоб сделаться достойным имени великого народа. Еще слишком много неправды, остатков векового рабства, засело в нем, чтоб он мог требовать себе поклонения и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г. Достоевский» (Кавелин, 2013, с. 1017; Градовский, 1901, с. 381).

Но особенно наглядным примером стереотипности сложившихся форм идеологического противостояния являются статьи в сборнике «Вехи» и вызванная ими бурная полемика в социалистических и либеральных изданиях, которая для последующих поколений интеллектуалов стала своеобразным «символом покаяния» в обозначенном его авторами главном «историческом грехе» русской радикальной интеллигенции — отщепенстве от государства и власти.

Тем не менее в теоретическом и даже чисто литературном плане статьи представляли собой лишь воспроизведение (нередко вплоть до мелких нюансов аргументации!) тех идей и концепций, которые постоянно возникали в XIX в. в ходе дискуссий между западниками и славянофилами, между русскими радикальными консервативными идеологами типа В. П. Мещерского и либерально-консервативными теоретиками — А. Д. Градовским, Б. Н. Чичериним и многими другими. Новизна состояла лишь в самом факте покаяния и возврата бывших марксистов Н. И. Бердяева, С. Н. Булгакова и П. Б. Струве к консервативным ис-

токама отечественной социальной мысли и в самой исторической ситуации начала XX в., способствовавшей столь необыкновенной по накалу страстей реакции русских социалистов и примыкавших к ним литераторов (М. Горького и др.) против своих бывших единомышленников.

Впрочем, реакция либеральной публики в отношении «Вех» вряд ли может сравниться с пассионарной реакцией Ф.М. Достоевского на комментарии А.Д. Градовского по поводу его речи, произнесенной на пушкинском юбилее 1880 г. На наш взгляд, именно это крупнейшее событие в российской интеллектуальной и культурной жизни второй половины XIX в. в плане теоретической аргументации оказалось вершиной и одновременно итогом векового спора сторонников либеральной традиции и их принципиальных противников.

Определенный момент новизны полемики, поднявшейся вокруг «Вех», во многом был вызван довольно необычным объединением в рамках одного издания мыслителей, столь противоположных по взглядам, как Б.А. Кистяковский, С.Л. Франк, М.О. Гершензон, и бывших марксистов. Отдаленно это чем-то напоминало знаменитый компромисс западников и славянофилов в 1880 г., ознаменованный рукопожатием И.С. Тургенева и П.В. Анненкова с Достоевским на пушкинском юбилее.

Обозначенная выше полемическая традиция благополучно дожила до наших дней, вновь и вновь порождая глубокий скепсис в отношении каких-либо реальных перспектив воплощения в жизнь либеральной программы реформ в современной России. В книге «Агония русской идеи», опубликованной в 1996 г., т.е. на самом пике российской экономической катастрофы, Тим Мак-Даниэл вполне категорично и справедливо утверждал: «Полдесятилетия прошло с тех пор, как советский коммунизм канул в забвение, и как раз настало время оставить в покое некоторые умиротворяющие иллюзии. Россия не движется по пути западного прогресса. За советским коммунизмом не последовала более высокая стадия развития. Внутри коммунистической системы никогда не вызревали социальные группы или политические силы, приверженные экономической и политической вестернизации или же способные осуществить такой проект, и теперь их не существует. Вместо того чтобы навязывать наши собственные желанные утверждения относительно прогресса, мы нуждаемся в том, чтобы понять тот тип общества, которое существовало, а также по каким причинам оно исчерпало себя. Понять причины, по которым оно не породило каких-либо краткосрочных или же среднесрочных альтернатив» (McDaniel, 1996, p. 5; ср.: Walicki, 1995, p. 544–555).

И теперь, через четверть века после исчезновения коммунистической России, другие слова, кроме приведенных выше, найти крайне трудно (Николаева, 2016). Но к ним вполне можно прибавить и другое суждение, основанное на новом теоретическом опыте, приобретенном на основе наблюдения за процессами, происходящими как на Западе, так и в посткоммунистической России. Нет никаких сомнений в том, что западный вариант модернизации и сам почти идиллический образ Запада, который когда-то был столь привлекательным для многих поколений русских либералов, почти полностью себя исчерпали. В современном мире возникают новые альтернативы как либеральному кос-

мополитическому мультикультурализму, доминировавшему на протяжении последних нескольких десятилетий, так и тому тупиковому варианту развития, который был избран посткоммунистической неономенклатурной элитой в 1990-е годы с целью установления тотального контроля над национальными ресурсами и политическим процессом. Результатом псевдореформ стало вполне закономерное восстановление структурных элементов, близко напоминающих нам недавнее прошлое. Уже в XIX в. русские политические мыслители достигли очень высокой степени понимания природы патриархальной имперской системы, на смену которой пришел советский коммунизм — ее модернизированный близнец. Многие их идеи становятся отчетливо понятными только сегодня и только тем отечественным интеллектуалам и ученым, которые раз и навсегда решили для себя, следуя примеру своих великих предшественников, никогда больше не надевать идеологические шоры и не поддаваться своим и чужим умиротворяющим иллюзиям или своекорыстным посулам власть предержащих.

Конечно, опыт прошлого отнюдь не радужный. Отмечая в октябре 1905 г. важность замечания Т. Н. Грановского о Петре I, «который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание», В. О. Ключевский писал: «Теперь, спустя 50 лет после смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра; можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С. М. Соловьев, веривший, что восстающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чичерин, в 1860-х годах предпочитавший «честное самодержавие несостоятельному представительству», а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли, и много, много других менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя малую крупичку Петра Великого, своего духовного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах» (Ключевский, 1989, с. 302).

Но их замечательные труды, оставленные в наследство потомкам, ясно свидетельствуют, что существует только одна возможность и один путь выхода из обозначенного Ключевским порочного круга — путь познания традиции и преумножения исторической памяти.

Литература

Абакумов О. Ю. «...Чтоб нравственная зараза не проникла в наши пределы». Из истории борьбы III отделения с европейским влиянием в России (1830-е — начало 1860-х гг.). Саратов: Научная книга, 2008. 214 с.

Валицкий А. Философия права русского либерализма. М.: Мысль, 2012. 566 с.

Глинка С. Н. Записки. СПб.: Изд-во журнала «Русская старина», 1895. 384 с.

Градовский А. Д. Мечты и действительность (по поводу речи Ф. М. Достоевского) // Градовский А. Д. Собр. соч. Т. 6. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1901. С. 375–383.

Гуторов В. А. Античная социальная утопия: вопросы истории и теории. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. 288 с.

Гуторов В. А. Понятие и концепция прогресса в структуре античной политической теории // Гуторов В. А. Политика: наука, философия, образование. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. С. 189–206.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: АСТ; Астрель, 2011. 580 с.

Кавелин К. Д. Политические призраки // Кавелин К. Д. Государство и община. М.: Институт русской цивилизации, 2013. С. 1008–1078.

Карцов А. С. Русский консерватизм второй половины XIX — начала XX в. (князь В. П. Мещерский). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 418 с.

Ключевский В. О. Памяти Т. Н. Грановского // Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. / под ред. В. Л. Янина. М.: Мысль, 1989. Т. VII. Специальные курсы (продолжение). С. 298–302.

Леонтович В. В. История либерализма в России (1762–1914). М.: Русский путь, 1995. 444 с.

Лотман Ю. М. Карамзин. СПб.: Искусство — СПб, 1997. 832 с.

Мещерский В. П. Безнравственность нашего общества // Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма / сост. и коммент. Ю. В. Климаков; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010а. С. 321–327.

Мещерский В. П. Верно ли, что интеллигенция не виновата перед Русским народом? (По поводу статьи «Руси» в № 15) // Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма / сост. и коммент. Ю. В. Климаков; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010б. С. 331–341.

Николаева У. Грозит ли России новое средневековье // Независимая газета. 2016. 25 октября. URL: http://www.ng.ru/stsenarii/2016-10-25/9_6843_middleages.html (дата обращения: 16.11.2016).

Российский либерализм: идеи и люди / под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2007. 904 с.

Хайек Ф. А. фон. Право, законодательство и свобода. Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2006. 644 с.

Ширинянец А. А. О специфике истории социально-политической мысли России // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления: Мат-лы междунар. науч. конф. Москва, 28–29 октября 2010 г. / отв. ред. В. В. Шелохаев. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. С. 536–546.

Ширинянец А. А. Интеллигенция в политической истории XIX века // Вестн. Моск. ун-та. Серия 12. Политические науки. 2012а. № 4. С. 39–55.

Ширинянец А. А. Либерализм в истории политики и мысли России второй половины XIX — начала XX в. // Русская социально-политическая мысль XIX — начала XX в. / под общ. ред. А. А. Ширинянца; сост., вступит. ст. и коммент. А. Х. Денильханова. М.: Изд. дом «Политическая мысль», 2012б. С. 266–277.

Ширинянец А. А. Миф и утопия демократии // Арзамасская сторона: Альманах. Вып. 5. Арзамас: АГПИ, 2012в. С. 386–392.

Berlin I. Russian Thinkers. London: Penguin Books, 1978. 312 p.

Edelstein L. The Idea of Progress in Classical Antiquity. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1967. 211 p.

Edelstein D. The Terror of Natural Right. Republicanism, the Cult of Nature, and the French Revolution. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2009. 337 p.

Edelstein M. The French Revolution and the Birth of Electoral Democracy. Farnham; Burlington: Ashgate, 2014. 365 p.

Essays in the History of Liberty: Selected Writings of Lord Acton. Vol. 1. Ed. by J. Rufus Fears. Chicago: Liberty Fund Inc, 1985. 557 p.

Kelly G. A. The Human Comedy. Constant, Tocqueville and French Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 262 p.

Kropotkin P. La grande Revolution. 1789–1793. Paris: P.-V. Stock; Editeur, 1909. 749 p.

McDaniel T. The Agony of the Russian Idea. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1996. 201 p.

Newey G. *After Politics. The Rejection of Politics in Contemporary Liberal Philosophy*. New York: Palgrave, 2001. 253 p.

Offord D. *Portraits of Early Russian Liberals. A Study of the Thought of T. N. Granovsky, V. P. Botkin, P. V. Annenkov, A. V. Druzhinin and K. D. Kavelin*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 281 p.

Remarque E. M. *Arc de Triomphe: Roman. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen*. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1988. 458 S.

Rosenblatt H. *Liberal Values. Benjamin Constant and the Politics of Religion*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 275 p.

Vincent K. S. *Benjamin Constant and the Birth of French Liberalism*. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 280 p.

Walicki A. *Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom. The Rise and Fall of the Communist Utopia*. Stanford, California: Stanford University Press, 1995. 642 p.

Walicki A. *The Flow of Ideas. Russian Thought from the Enlightenment to the Religious-Philosophical Renaissance*. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2015. 876 p.

Гуторов Владимир Александрович — д-р филос. наук, проф.;
gut-50@mail.ru

Статья поступила в редакцию: 11 марта 2017 г.;
рекомендована в печать: 7 ноября 2017 г.

Для цитирования: Гуторов В. А. Российский либерализм в политико-культурном измерении: опыт сравнительного теоретического и исторического анализа (часть III) // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2017. Т. 13, № 3. С. 4–26.

RUSSIAN LIBERALISM IN POLITICAL AND CULTURAL DIMENSIONS: AN ESSAY OF COMPARATIVE THEORETICAL AND HISTORICAL ANALYSIS (PART III)

Vladimir A. Gutorov

Saint Petersburg State University,
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russia; gut-50@mail.ru

The article analyzes a particular set of ideas, in which liberalism, conservatism, and deep traditionalism is combined organically with philosophical and political radicalism and utopianism. A key example of this kind of thought is in the works of N. M. Karamzin, the Russian historian and political thinker who continuously vacillated between liberalism and a historically colored conservatism. Karamzin believed that an absolute monarchy could well accept the basic demands of liberalism as a government program or even as the basic principle of a state system without any harm to itself. Such a combination in one person of diametrically opposite trends — liberalism and anti-liberalism — already at the stage of the formation of the liberal tradition for Russian social thought was by no means accidental, but rather natural. It is also difficult to give up the impression that ancient utopian ideas, either directly or in the form they took in French revolutionary thought, influenced not only Karamzin but also Muraviev and Pestel, the authors of the first radical constitutional projects. In the end, it can be argued that the ideas of Karamzin not only largely predetermined the nature of the evolution of nineteenth-century Russian liberalism, but were also quite consonant and even natural to the ideas of Kavelin in political, historical and, in a certain sense, purely theoretical aspects, in spite of all their paradoxes. By the early twentieth century in Russian ideological discourse the images of two opposing dangerous alliances appeared, which, undoubtedly, had a direct impact on practical politics. As one of the consequences in the same period, a polemical tradition was completely formed, which can hardly be called a creative dispute. This polemic tradition has survived to the present day, again and again engendering deep skepticism about any real prospects for the implementation of the liberal reform program in modern Russia.

Keywords: conservatism, traditionalism, utopianism, ancient tradition, anti-liberalism, constitutional projects, ideological discourse, polemical tradition.

References

- Abakumov O. Iu. «...Chtob npravstvennaia zaraza ne pronikla v nashi predely». Iz istorii bor'by III otdeleniia s evropeiskim vlianiem v Rossii (1830-e — nachalo 1860-kh gg.) [“...So that the moral infection does not penetrate our limits”. From the history of the struggle of the III division with European influence in Russia (1830s — the beginning of the 1860s.)]. Saratov, “Scientific Book” Publishers, 2008. 214 p. (In Russian)
- Berlin I. *Russian Thinkers*. London, Penguin Books, 1978. 312 p.
- Diogen Laertskii. *O zhizni, ucheniakh i izrecheniakh znamenitnykh filosofov* [About the Life, Teachings and Sentences of Famous Philosophers]. Moscow, AST, Astrel', 2011. 580 p. (In Russian)
- Edelstein D. *The Terror of Natural Right. Republicanism, the Cult of Nature, and the French Revolution*. Chicago, London, The University of Chicago Press, 2009. 337 p.
- Edelstein L. *The Idea of Progress in Classical Antiquity*. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967. 211 p.
- Edelstein M. *The French Revolution and the Birth of Electoral Democracy*. Farnham, Burlington, Ashgate, 2014. 365 p.
- Essays in the History of Liberty: Selected Writings of Lord Acton*. Vol. 1. Ed. by J. Rufus Fears. Chicago, Liberty Fund, Inc, 1985. 557 p.
- Glinka S. N. *Zapiski* [Notes]. St. Petersburg, Russkaia starina Publ., 1895. 384 p. (In Russian)
- Gradovskii A. D. *Mechty i deistvitel'nost'* (Po povodu rechi F. M. Dostoevskogo) [Dreams and Reality (Concerning the speech of F. M. Dostoevsky)]. *Gradovskii A. D. Sobr. soch. T. 6* [Gradovskii A. D. Works. Vol. 6]. St. Petersburg, The M. M. Stasiulievich Publishing House, 1901. pp. 375–383. (In Russian)
- Gutorov V. A. *Antichnaia sotsial'naia utopiia: voprosy istorii i teorii* [Ancient Social Utopia]. Leningrad, Leningrad University Press, 1989. 288 p. (In Russian)
- Gutorov V. A. *Poniatie i kontseptsii progressa v strukture antichnoi politicheskoi teorii* [The Notion and Conception of Progress in the Structure of the Ancient Political Theory]. *Gutorov V. A. Politika: nauka, filosofii, obrazovanie* [The Politics: Science, Philosophy, Education]. St. Petersburg, St. Petersburg University Press, 2011, pp. 189–206. (In Russian)
- Hayek F. A. von. *Pravo, zakonodatel'stvo i svoboda. Sovremennoe ponimanie liberal'nykh printsipov spravedlivosti i politiki* [Law, Legislation and Liberty. The Modern Understanding of the Liberal Principles of Justice and Politics]. Moscow, IRISEN, 2006. 644 p. (In Russian)
- Kartsov A. S. *Russkii konservatizm vtoroi poloviny XIX — nachala XX v. (kniaz' V. P. Meshcherskii)* [Russian conservatism in the second half of XIX — early XX century (Prince V. P. Mescherskii)]. St. Petersburg, St. Petersburg University Press, 2004. 418 p. (In Russian)
- Kavelin K. D. *Politicheskie prizraki* [Political Ghosts]. *Kavelin K. D. Gosudarstvo i obshchina* [State and Community]. Moscow, The Institute of Russian Civilization, 2013, pp. 1008–1078. (In Russian)
- Kelly G. A. *The Human Comedy. Constant, Tocqueville and French Liberalism*. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 262 p.
- Kliuchevskii V. O. *Pamiati T. N. Granovskogo* [The Memory of T. N. Granovski]. *Kliuchevskii V. O. Sochineniia: V 9 t. [Kliuchevskii V. O. Works: In 9 vol. Vol. VII. Special courses (A Continuation)]*. Ed. by V. L. Yanin. Moscow, Mysl' Publ., 1989, pp. 298–302. (In Russian)
- Kropotkine P. *La grande Revolution. 1789–1793*. Paris, P.-V. Stock, Editeur, 1909. 749 p.
- Leontovich V. V. *Istoriia liberalizma v Rossii (1762–1914)* [History of Liberalism in Russia (1762–1914)]. Moscow, Russkii put' Publ., 1995. 444 p. (In Russian)
- Lotman Y. M. *Karamzin* [Karamzin]. St. Petersburg: “Art — SPb” Publ., 1997. 832 p. (In Russian)
- McDaniel T. *The Agony of the Russian Idea*. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1996. 201 p.
- Mescherskii V. P. *Bezpravstvennost' nashego obschestva* [The Immorality of Our Society]. *Mescherskii V. P. Za velikiu Rossiiu. Protiv liberalizma* [For the Great Russia. Against Liberalism]. Comp. and comment. Y. V. Klimakov, ed. by O. A. Platonov. Moscow, The Institute of Russian Civilization, 2010, pp. 321–327. (In Russian)

Meshcherskii V. P. Verno li, chto intelligentsiia ne vinovata pered Russkim narodom? (Po povodu stat'i «Rusi» v № 15) [Is it true that the intelligentsia is not guilty before the Russian people? (Concerning the Article of “Rus” in No 15)]. *Meshcherskii V. P. Za velikuiu Rossiiu. Protiv liberalizma* [Mescherskij V. P. For the Great Russia. Against Liberalism]. Comp. and comment. Y. V. Klimakov, ed. by O. A. Platonov. Moscow; The Institute of Russian Civilization, 2010, pp. 331–341. (In Russian)

Newey G. *After Politics. The Rejection of Politics in Contemporary Liberal Philosophy*. New York, Palgrave, 2001. 253 p.

Nikolaeva U. Grozit li Rossii novoe srednevekov'e [Is Russia threatening a new Middle Ages]. *Nezavisimaia gazeta*. October 25. 2016. Available at: http://www.ng.ru/stsenarii/2016-10-25/9_6843_middleages.html (accessed: 16.11.2017). (In Russian)

Offord D. *Portraits of Early Russian Liberals. A Study of the Thought of T. N. Granovskiy, V. P. Botkin, P. V. Annenkov, A. V. Druzhinin and K. D. Kavelin*. Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 281 p.

Remarque E. M. *Arc de Triomphe: Roman. Mit einem Nachwort von Tilman Westphalen*. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1988. 458 S.

Rosenblatt H. *Liberal Values. Benjamin Constant and the Politics of Religion*. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 275 p.

Rossiiskii liberalizm: idei i liudi [Russian Liberalism: Ideas and People]. Ed. by A. A. Kara-Murza. Moscow, The New Publishing House, 2007. 904 p. (In Russian)

Shirinians A. A. Intelligentsiia v politicheskoi istorii XIX veka [The Intelligentsia in the Political History of the XIX Century]. *Vestnik Mosk. un-ta. Seriya 12. Politicheskie nauki* [The Bulletin of the Moscow University. Series 12. Political Sciences], 2012, no. 4, pp. 39–55. (In Russian)

Shirinians A. A. Liberalizm v istorii politiki i mysli Rossii vtoroi poloviny XIX — nachala XX v. [Liberalism in the History of Politics and Thought of Russia in the Second Half of XIX — early XX Centuries]. *Russkaia sotsial'no-politicheskaia mysl' XIX — nachala XX v.* [Russian Socio-Political Thought of XIX — beginning of XX century], Moscow, “Political Thought” Publishers, 2012, pp. 266–277. (In Russian)

Shirinians A. A. Mif i utopiia demokratii. *Arzamasskaja storona. Almanah. Vypusk 5* [The Arzamas Land. Anthology. Issue 5]. Arzamas, AGPI Publ., 2012, pp. 386–392. (In Russian)

Shirinians A. A. O spetsifike istorii sotsial'no-politicheskoi mysli Rossii [On the Specificity of the Russian Social and Political Thought]. *Obshchestvennaia mysl' Rossii: istoki, evoliutsiia, osnovnye napravleniia: Mat-ly mezhdunar. nauch. konf. Moskva, 28–29 oktiabria 2010 g.* [The Materials of the International Scientific Conference. Moscow, 28–29 October 2010]. Ed. by V. V. Shelohaev. Moscow, “The Russian Political Encyclopedia” (POSSPEN), 2006, pp. 536–546 (In Russian)

Vincent K. S. *Benjamin Constant and the Birth of French Liberalism*. New York, Palgrave Macmillan, 2011. 280 p.

Walicki A. *Legal Philosophies of Russian Liberalism*. Oxford, Clarendon Press, 1987. 477 p. (Russ. ed.: Walicki A. *Filosofii prava russkogo liberalizma*. Moscow, Mysl Publ., 1987. 566 p.)

Walicki A. *Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom. The Rise and Fall of the Communist Utopia*. Stanford, California, Stanford University Press, 1995. 642 p.

Walicki A. *The Flow of Ideas. Russian Thought from the Enlightenment to the Religious-Philosophical Renaissance*. Frankfurt am Mein, Peter Lang, 2015. 876 p.

For citation: Gutorov V. A. Russian Liberalism in Political and Cultural Dimensions: An Essay of Comparative Theoretical and Historical Analysis (Part III). *Political Expertise: POLITEX*, 2017, vol. 13, no. 3, pp. 4–26.